

IV

Сейчас мода на публичные лекции: Бовалле[14] прочтет «Эрнани» в Казино-Каде.

Торжественное заседание! Great attraction![15] Это своего рода протест против империи в честь поэта, написавшего «Возмездие»[16] *.

Но, как и в цирке, здесь нужен еще артист рангом пониже, клоун или обезьянка, один из тех, что появляются на арене после главного номера, когда публика уже одевается и разъезжается.

Мне предложили роль этой обезьянки – я согласился.

В какой обруч буду я прыгать? Выбираю и предлагаю тему: «Бальзак и его творчество».

Истории Растиньяка, Сешара и Рюбампре крепко засели у меня в мозгу. «Человеческая комедия» является часто драмой жизни: здесь хлеб и одежда, взятые в кредит или в рассрочку, и муки голода, и страх перед взысканием по векселю. Не может быть, чтобы я не нашел захватывающих слов, говоря об этих героях, – моих братьях по честолюбию и страданиям!

День представления настал, – имена знаменитости и обезьянки красуются в программе рядом.

Народу будет много. Придут стариканы 48-го года, чтобы обрушиться на Бонапарта, как только они почуют в каком-нибудь полустишии республиканский намек. Будет присутствовать и вся молодая оппозиция: журналисты, адвокаты, «синие чулки», которые своими подвязками удушили бы императора, попадись только он в их розовые коготки, и которые вырядятся для битвы в свои праздничные шляпки.

Но уже издали я вижу, как перед входом в Гранд-Орьен толпится публика вокруг человека, наклеивающего на афишу свежую полосу.

Что случилось?

Оказывается, чтение драмы Гюго запрещено, и организаторы извещают, что «Эрнани» будет заменен «Сидом».

Многие уходят, пробормотав пренебрежительно три слога моего имени и фамилии... ничего им не говорящих.

– Жак Вентра?

– Не знаю такого.

Никто не знает меня, кроме нескольких журналистов, завсегдатаев нашего кафе. Они пришли нарочно и остаются, чтобы посмотреть, как я выпутаюсь, рассчитывая на то, что я провалюсь или учиню скандал.

Пока там читают александрийские стихи «Сида», я захожу в ближайшую пивную.

– Твоя очередь! Сейчас тебе выступать!

Я едва успеваю взбежать по лестнице.

– Вам! Вам!

Пересекаю зал, – и я на эстраде.

Не торопясь, кладу шляпу на стул, бросаю пальто на рояль позади себя, медленно снимаю перчатки и с торжественностью колдуна, гадающего на кофейной гуще, мешаю ложечкой сахарную воду в стакане. А затем начинаю, ничуть не смущаясь, как если б я разглагольствовал в молочной:

– Милостивые государины и милостивые государи!

.....

Заметив в аудитории дружественные лица, я гляжу на них, обращаюсь к ним, и слова льются сами собой; мой громкий голос разносит их по всему залу.

После Второго декабря я впервые выступаю публично. В то утро я взбирался на скамьи и тумбы, говорил с толпой, призывал ее к оружию, обращался с речами к неизвестным мне людям, которые проходили, не останавливаясь.

Сегодня, одетый в черную пару, я стою перед разряженными выскочками, воображающими, что они совершили акт величайшей смелости, придя сюда послушать чтение стихов.

Поймут ли они меня, да и станут ли слушать?

Эти пуритане ненавидят Наполеона, но они не жалуют и тех, от чьих слов несет больше порохом Июньских дней, чем порохом государственного переворота. Седоусые весталки республиканской традиции, все они – подобно Робеспьеру и его подражателям, их предкам, – являются строгими Бридуафонами[17] классического образца.

Присутствующие здесь и читавшие меня раньше педанты в белых галстуках совершенно сбиты с толку моими беспорядочными нападками, направленными не столько на бюст Баденге[18], сколько на все гнусное современное общество. Негодное, оно бросает одни лишь свинцовые пули на борозды, где корчатся в муках и умирают от голода бедняки, – кроты, которым плуг обрезал лапы. И они даже не могут разорвать мрак своей жизни одиноким криком отчаяния!

Но не отчаяние, а скорее презрение переполняет сейчас мое сердце и зажигает фразы, которые я и сам нахожу красноречивыми. Я чувствую, как они сверкают и разят среди всеобщего молчания.

Но они не пропитаны ненавистью.

Я не бью тревогу, я зову к атаке! Я дерзок и насмешлив, как барабанщик, ускользнувший от ужасов осады и очутившийся на свободе. Он смеется над неприятелем, плюет на приказы офицера, и на устав, и на дисциплину, бросает в канаву форменную фуражку, срывает нашивки и с увлечением балаклавских музыкантов бьет зорю иронии.

Честное слово, воспользовавшись случаем, я, кажется, выскажу им все, что душит меня!

Я забываю мертвого Бальзака и говорю о живых, забываю даже нападать на империю и размахиваю перед этими буржуа не только красным, но и черным знаменем[19].

Я чувствую, как взлетает моя мысль, легкие расширяются, я дышу наконец полной грудью, трепещу от гордости и испытываю почти чувственное наслаждение во время своей речи. Мне кажется, что сегодня впервые свободны мои жесты и что, насыщенные моей искренностью, они захватывают всех этих людей, которые тянутся ко мне с полуоткрытыми губами, впиваясь в меня напряженным взором.

Я держу их всех в своих руках и обращаюсь с ними по воле вдохновения.

Почему они не возмущаются?

Да потому, что я сохранил все свое хладнокровие и, чтобы расшевелить их мозги, действовал оружием, замаскированным наподобие кинжала греческих трагедий. Я забросал их латынью, говорил с ними языком «великого века», и эти идиоты позволили мне высмеивать свою религию и принципы потому лишь, что я воспользовался для этого языком, чтимым их риторикой, языком, на котором разглагольствуют адвокаты и профессора гуманитарных наук. Между двумя периодами в духе Вильмена[20] я вставляю резкое и жестокое словцо бунтаря и не даю им времени опомниться.

Некоторых из них я просто терроризирую.

Только что колкой фразой я вскрыл, точно ржавым ножом, один из их предрассудков. Я увидел, как целая семья возмутилась и раскричалась, как отец стал искать свое пальто, а дочь – поправлять шаль. Тогда я сурово поглядел в их сторону и грозным взглядом пригвоздил их к скамье. Испуганные, они снова уселись, а я чуть не прыснул со смеху.

Но пора кончать. Мне остается сказать заключительное слово, и я быстро разделяюсь с ним.

Стрелка обошла свой круг... Предоставленный мне час кончился, – жизнь начинается!

В течение суток обо мне говорили в редакциях нескольких газет и в кафе на бульварах. Этих суток вполне достаточно, если я действительно чего-нибудь да стою. Я вышел из неизвестности, освободился из тисков.

Славный все-таки выдался денек! Я смыл слюной своего красноречия весь шлак последних лет, подобно тому, как кровь Пупара[21] смыла грязь нашей юности.

Этот случай мог бы никогда мне не представиться. И, уж конечно, он ускользнул бы от меня, останься я на том берегу и не посещай я кафе, куда ходили несколько честолюбивых писак.

Но то, что я обедал за этим табльдотом и выпивал иногда, а опьянев, говорил увлекательно и смело; то, что, освободившись от убийственной и нудной работы, я мог проводить время с этими бездельниками, – помогло мне выйти из неизвестности и получить возможность действовать.

Иногда приходилось, конечно, разменять луидор на угощение, но... он бывал у меня теперь в дни получки жалованья.

Как благословляю я тебя, моя скромная должность в 1500 франков! Ты позволяла мне тратить по десять франков в первые дни месяца и по три франка в остальные; ты придавала мне вид добропорядочности и в силу этого доставляла уроки по сто су за час, между тем как до того мне платили по пятидесяти сантимов за точно такие же.

Эта ничтожная должность спасла меня, и только благодаря ей я завтракаю сегодня утром.

Ведь моя лекция не принесла мне ни одного су. Директор щедро расплатился со мной натурой: вчера вечером он угостил меня хорошим обедом.

Но сегодня мой карман пуст: я не был бы беднее, если б меня освистали. Мои перчатки, ботинки, парадная рубашка стоили мне больших денег. Как-то я поужинаю сегодня?

К девяти часам в кишках у меня начало отчаянно урчать. Я отправился в Европейское кафе , где мои товарищи пользуются кредитом, и остановил свой выбор на «баваруазе», потому что к нему полагается булочка.

На другой день я, по обыкновению, отправился в мэрию. Чиновники, увидев меня, высыпали на порог канцелярии.

– В чем дело?

– Господин Вентра, вас требует мэр.

Действительно, уже из коридора, через полуоткрытую дверь зала для венчаний, я увидел, что мэр ждет меня.

Он пригласил меня к себе в кабинет.

– Вы, конечно, догадываетесь, сударь, зачем я вас позвал?

– ?

– Нет?.. Так вот. В воскресенье вы произнесли в казино речь, являющуюся подлинным оскорблением правительства. Так по крайней мере выразился окружной инспектор в своем рапорте префекту. Я со своей стороны должен выразить вам мое удивление по поводу того, что вы компрометируете учреждение, во главе которого стою я, и свое положение, пусть незначительное само по себе, но являющееся для вас, по вашим же собственным словам, единственным средством к существованию. Я должен официально предупредить вас, что впредь вам будут воспрещены публичные выступления, и просить вас подать в отставку.

Не выступать публично – это куда ни шло. В конце концов удар нанесен, и за мной еще даже останется слава преследуемого правительством человека.

Но подать в отставку! потерять мою скромную должность! При этой мысли у меня мороз пробегает по коже. Все газетные статьи, сулящие мне славное будущее, не стоят тарелки супа. А я привык за последнее время к супу, и мне трудно будет выдержать больше одного дня без пищи.

И все-таки нужно было уходить... Я побледнел, пожимая на прощанье руку этому славному человеку, и с грустью оставил мэрию.

Что делать?

Я снова брошен в политику. Но теперь мне нечего бояться, что по моей милости отец лишится места. Семья уже не связывает меня больше, – я сам себе хозяин. Весь вопрос в том, есть ли у меня смелость и талант.

Бедняга! Верь в это и пей воду, отвратительную воду, которую ты так долго лакал из выщербленных кружек меблированных комнат, как бродячая собака из лужи. Несмотря на твой вчерашний триумф, эта вода снова станет твоим каждодневным напитком, если ты захочешь остаться свободным человеком.

Ты думал, что уже вылез из трясины?.. Как бы не так!.. Ты вытащил только голову, но сам еще не выкарабкался.

Жалуйся на свою судьбу! Ты был в агонии, и никто не видел твоих страданий, – а теперь все увидят, как ты будешь подыхать!

Жиранден[22] поручил Верморелю[23] передать мне, что хочет видеть меня.

«Пусть придет ко мне в воскресенье».

Я пошел к нему.

Он заставил меня прождать два часа и совсем забыл бы меня в пустой, погруженной в сумерки библиотеке, если б я не открыл дверь и, поднявшись по лестнице, не ворвался, нарушая приказ, в кабинет, где он отчитывал трех или четырех субъектов; они стояли, опустив головы, и оправдывались, как школьники перед учителем.

Едва извинившись, он продолжал кричать, как на лакеев, на этих людей, хотя у одного или двоих из них были уже седые волосы. А меня он выпроводил одной короткой фразой:

– Я принимаю по утрам в семь часов; если вам угодно – завтра.

Он кивнул головой, вот и все.

Я не ожидал такого сухого приема. Но еще меньше мог предполагать, что мне придется быть свидетелем столь грубого обращения с сотрудниками газеты...

6 часов утра

Мне потребовалось три четверти часа, чтобы добраться до ворот его особняка. Пересекаю двор, поднимаюсь на крыльцо, толкаю большую застекленную дверь и останавливаюсь в затруднении, как если бы очутился на незнакомой улице. Слуги, позевывая, открывают окна, вытряхивают ковры. Я их прошу передать камердинеру Жану, чтобы он доложил обо

мне.

И вот я наконец перед ним.

Что за мертвенно-бледная физиономия! Точно маска зловещего Пьерро!

Бескровное лицо престарелой кокетки или старообразного ребенка, и на этой бледной эмали резко выделяются блестящие, холодные глаза.

Настоящая голова скелета, которому озорник студент вставил в глазные впадины две блестящих жестянки и затем, облачив его в халат, похожий на сутану, усадил перед письменным столом, заваленным различными вырезками и раскрытыми ножницами.

Никто бы не поверил, что в халате – человек!

А между тем в этом шерстяном мешке запрятан один из лучших эквилибристов века – весь из нервов и когтей, человек этот в течение тридцати лет всюду совал свой нос, на все накладывал свою лапу. Но, подобно кошке, он неподвижен, пока не учует подле себя добычи, которую можно было бы схватить и исцарапать.

Так вот каков он, этот человек, будораживший умы своими мыслями, которые он бросал каждый день в те времена, когда каждый вечер вспыхивало восстание! Это он схватил Кавеньяка за генеральские погоны и сбросил его с лошади, ринувшейся на Июньские баррикады. Он убил эту славу, как убил уже одного республиканца на знаменитой дуэли[24].

Но ни под его кожей, ни на его руках не видно уж больше следов крови – ни его собственной, ни чужой.

Впрочем, нет, это не голова мертвеца! Это – ледяной шар, на котором нож нацарапал и выскоблил подобие человеческого лица, начертав на нем своим предательским острием эгоизм и отвращение к миру, – чувства, оставившие на этом лице пятна и тени, подобные тем, какие оставляет оттепель на белизне снега.

Эта маска – олицетворение бледности и холода.

Его сплин проник мне в душу, его лед – в мою кровь!..

Я вышел весь дрожа. На улице мне показалось, что вены мои побледнели под смуглой кожей, углы губ опустились и что я смотрю на небо бесцветными глазами.

Впрочем, в моем лице к нему явился неискушенный бедняк. Я заметил, что он сразу угадал это, и почувствовал, что он уже презирает меня.

Я пришел попросить у него указания, совета и, если возможно, предоставить мне местечко на страницах его газеты, где я мог бы высказывать свои мысли и продолжать, с пером в руке, свою боевую лекцию.

Что же он сказал?

Он покончил со мной лаконическим телеграфным языком, двумя ледяными словами:

– Беспорядочно! Нескладно!

На все мои вопросы, порой довольно настойчивые, он отвечал лишь этим монотонным бормотанием. Ничего другого я не мог вырвать из его сомкнутых уст.

– Беспорядочно! Нескладно!

Встретив вечером Вермореля, я рассказал ему о своем визите и излил перед ним все свое возмущение.

Но он уже успел повидать Жирардена и резко перебил меня:

– Дорогой мой, он берет к себе только таких людей, из которых может сделать лакеев или министров и которые будут отражать его славу... только таких. Он говорил мне о вашем посещении. Хотите знать, что он сказал о вас? «Ваш Вентра? Бедняга, ему нельзя отказать в таланте, но он просто бешеный и во имя своих идей и ради славы захочет играть только на своей собственной дудке: таратати, таратата! Не воображает ли он, что я посажу его с моими кларнетистами, чтобы он заглушал их посвистывание?»

– Так он и сказал?

– Слово в слово.

Расставшись с Верморелем, я отправился домой и всю ночь вспоминал этот разговор, заставлявший меня трепетать от гордости и... дрожать от страха.

Я не уснул ни на минуту. Утром, когда я вскочил с постели, мое решение было принято. Я оделся, натянул перчатки и направился в особняк Жирардена.

Он снял маску перед Верморелем, – я потребую, чтобы он сбросил ее и передо мной, а если он не пожелает, так я сам сорву ее!

– Да, милостивый государь, вы являетесь жертвой вашей индивидуальности и осуждены жить вне наших газет. Знайте, что политическая пресса не потерпит вас; другие так же, как и я. Нам нужны дисциплинированные люди, годные для тактики и маневров... а вы никогда не сможете принудить себя к этому, никогда!

– А как же мои убеждения?

– Ваши убеждения? Они должны считаться с ходячей риторикой и способами защиты, принятыми в данный момент. У вас же свой собственный язык, и вам не вырвать его, если б вы даже захотели. Ничего не могу сделать, ничего! Я не взял бы вас, если б вы даже заплатили мне за это!

– Ну, хорошо, – сказал я в отчаянии, – я не предлагаю вам больше своих услуг в качестве полемиста с красной кокардой. Я прошу принять меня как обыкновенного литературного сотрудника, дать мне возможность продать вам свой талант... поскольку вы находите, что он у меня есть.

Он взялся рукой за свой выбритый подбородок и покачал головой.

– Не подойдет, уважаемый. Когда вы будете исполнять вариации на темы о лесных цветочках или о милосердных сестричках, все равно из вашей свирели будут вырываться трубные звуки. Даже против вашей воли. А вы знаете, что на империю наводят страх не столько смелые слова, сколько мужественный тон. За вашу статью о пикнике в Роменвилле мою газету прихлопнут точно так же, как за статью другого об управлении Руэра[25].

– Стало быть, я осужден на неизвестность и нищету!

– Пишите книги. Да и то я не уверен, что их напечатают и не подвергнут гонениям. А самое лучшее, постарайтесь получить наследство... или же составьте себе состояние игрой на бирже или в карты, либо... устройте революцию. Выбирайте уж сами!

– Хорошо, я выберу!

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 апреля 2026 14:53:11

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 апреля 2026 14:55:17